ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ

С. Н. ТЕРПИГОРЕВ
(С. АТАВА)

С. Н. Терпигорев
С. Атава

ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ

Государственное Издательство
Художественной Литературы
Москва - Ленинград
1959

Подготовка текста и примечания
Н. И. Соколова и Н. И. Тотубалина

Послесловие Н. И. Соколова

Оформление художника
Н. И. Васильева

В РАЮ

I

Как стал я себя помнить, каждый год мы ездили в Знаменское, к «тетеньке» Варваре Николаевне Дукмасовой. То есть нам-то она приходилась бабушкой, а отцу с матушкой — тетенькой, и потому все звали ее «тетенькой», и даже сама она не любила, чтобы ее называли иначе.

— Уж ты, мать моя, заспешила, нарожала детей, и пожить-то как следует не успела, — говорила она матушке, как-то уныло поглядывая на нас, — первая меня в бабки произвела: отличилась...

Но тем не менее, однако, она нас любила, особенно меня — потому, может быть, что я был ее крестник. Или еще, может быть, потому, что я представлялся ей вышедшим в дукмасовскую родню.

— Этот будет совсем Миша-брат: и глаза его, и лоб, и потом вот этот вихор... — говорила она, рассматривая меня.

Она почему-то была необыкновенно высокого мнения о дукмасовском роде — роде своего мужа — и потому благоволила и ко мне.

Но я уж привык выслушивать такие рассуждения: дядя Петр Васильевич Скурлятов находил, что я весь в скурлятовскую родню; тетушка Марья Дмитриевна Чемезова — что я весь в Чемезовых вышел... и потому я только поглядывал на них и никак не мог понять, что это за достоинства такие они во мне всё открывают?.. И почему это хорошо быть похожим на Дукмасовых, Скурлятовых или Чемезовых, а не на свой род, фамилию

которого я носил? Чем он хуже их? Чем они лучше? Но это меня не особенно занимало.

Эти поездки в Знаменское и к другим дальним, то есть на далеком от нас расстоянии жившим, родственникам составляли в своем роде целые события, о которых начинали говорить еще с весны и готовились долго, всё обдумывали, соображали, взвешивали — к кому первому ехать, к кому по дороге «туда» заезжать и к кому «оттуда», когда поедем назад, у кого сколько пробыть, кому что сказать и как у кого себя вести? Вспоминая теперь эти поездки, я не знаю, что такое, собственно, они представляли — акт дипломатической вежливости, посольство чрезвычайное или навещание дорогих родственников, нежно любимых. Я скорее думаю — первое, потому что чувств этих нежных и родственных, вообще говоря, было мало...

Предпринимались эти поездки обыкновенно летом, в начале лета, когда еще ни уборки, ни фруктовых и плодовых заготовок нет, так в последних числах мая, самое позднее — в первых числах июня.

К этому времени дипломатическая сторона поездки бывала уж совершенно выяснена, — соображались и разбирались вопросы второстепенные: об удобствах поездки, как и когда, в какой день выехать, какие вещи с собой брать, и проч., и проч. Эти второстепенные вопросы, представляющиеся теперь пустяками, не были, во-первых, в то время такими, и потому к ним относились иначе: совсем другие были понятия, другой строй жизни, потому что другой совсем был быт.

Дня за три до того, как трогаться в путь, карету, давным-давно уж осмотренную своими домашними слесарями и каретниками, выдвигали из каретного сарая, и она, в чехле, стояла на конюшенном дворе для чего-то снаружи до того самого дня, когда ее будут нагружать и запрягать. Сундуки и важа из нее и с нее давно уже принесены в дом, и стоят они в девичьей, в детских, и в них постепенно, мало-помалу, не спеша, всё укладывают.

— Ну, детское, сударыня, все уложено, — говорит, приходя к матушке, нянька наша Устинья Ивановна.

— Все?

— Все, сударыня.

И они, проверяя, не забыли ли что, обе начинают перечислять наименования предметов, сколько чего

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.

взято с собою, уложено, сколько рубашечек, кальсончиков, платочков, и проч., и проч. Выходят недоразумения при этом.

— Ах, Устиньюшка, я тебя не понимаю совсем, — с непритворным, искренним удивлением говорит матушка, — кальсончиков ты берешь шесть! Мальчик — ну, разве может ему этого хватить? Ведь это девочке — можно, довольно...

— Сударыня, да ведь и прошлый раз шесть же пар брали, — обиженным тоном говорит нянька.

— Да ведь, я думаю, он растет!.. Он всюду уже теперь ходит, разве удержишь его: он и рыбу удить пойдет, и верхом ездить будет, и так, в лесу, в саду бегать будет, пачкаться. Не понимаю, как это ты только не понимаешь этого, — резонно и глубокообдуманно возражает ей матушка и приказывает взять еще кальсончиков.

В особом сундуке и в двух баульчиках с вышитыми бисером крышками уложены вещи гувернантки нашей, Анны Карловны. Она тоже всего набрала с собой: и белья, и всяких вещиц для рукоделья, до наших книжек и тетрадок включительно. Мы не будем, конечно, ни дорогой, ни в гостях у родственников учиться, но на всякий случай — а может... Мы это знаем всё отлично, даже глубоко убеждены, что этого не случится; но берут это всё и не для этого, а для того, чтобы это все было под рукой и чтобы, в случае чего, можно было сказать: «А вот, если будете шалить, вас посадят заниматься с Анной Карловной», — вот для чего. Но это нас так же мало пугало, как чучело на огороде воробьев.

А потом матушкины вещи, ее сбор... Во время нашего пребывания у родственников — у одних должна быть свадьба, у других именины, там торжественно празднуется рождение. И ко всему этому берутся особые, приличные случаю, платья, все принадлежности... А вещи няньки Устиньи Ивановны, вещи горничной Матреши, которая тоже едет с нами, потому что кто же будет ходить за матушкой, кто же будет в чужом месте следить за всеми ее вещами?

В день отправления, с утра, карета, все еще в чехле, запрягается в одну лошадь и таким образом доставляется к дому к крыльцу. Тут ей новый осмотр... Осматривает отец, осматривает старик Осип Матвеевич, дворецкий и камердинер еще деда-покойника, осмат-

ривает ее даже садовник Михей — он был когда-то форейтором и тоже в этом понимает. Наконец мы, дети, на минутку заглядываем в нее: нам отворяют дверцы, и мы смотрим на знакомую нам ее синюю обивку с бесчисленными басонами, висящими в ней, подушками, зеркальцами, нюхаем, как духи какие, юфтевый запах, который присущ ей и которого мы уж давно не слыхали — с самого прошлого года, как ездили в ней в то же самое время.

Наконец, пораньше в этот день, нарочно, часов в одиннадцать, подают завтрак, а карету между тем запрягают: привели с конюшни к крыльцу больших матушкиных каретных вороных лошадей, уж совсем в хомутах, в шлеях, с ними пришла целая толпа конюхов, одни лошадей держат, другие их запрягают, оправляют, охорашивают. Кучер Ермил все еще в поддевке, пока запрягают, он сам обыкновенно с серьезным видом ходит и все осматривает: он оденется, так же как и форейтор Ефим («Ефимка»), потом, где-нибудь за углом, когда все будет готово и им уж вот-вот садиться — одному на козлы, а другому в седло.

И до чего все это свежо у меня в памяти! Как сейчас я вижу, смотрим мы на все это из окон, выбегаем вместе с вышедшими на крыльцо большими, озабоченно распоряжающимися, осторожно и бережно выносящими и укладывающими в карету узелки, картонки, свертки...

Наконец карета уложена, запряжена, кучер Ермил сидит, совсем оправленный и подоткнутый, на козлах, «Ефимка»-форейтор на седле, Никифор, наш выездной человек, готов тоже. Мы уже позавтракали.

— Ну что же, сядем? Перед отъездом надо помолиться богу, да и пора в путь уже, — говорит матушка, как бы мысль эта ей только что сейчас пришла в голову, одетая тоже, как и все, совсем уже по-дорожному.

Садятся все, молча сидят с полминуты, начинают потом креститься, встают. Слышатся поцелуи, говорят: «С богом», «В путь добрый» и проч. Матушка делает в последний — не сотый ли — раз замечание относительно огня, то есть осторожного обращения с огнем. Остающаяся в доме за старшую по женскому хозяйству и вообще по женской части Евпраксеюшка говорит: «Будем осторожны, избави господи. Что такое, как же это можно? Будьте покойны, сударыня-барыня, смотреть

будем еще пуще обыкновенного». Отец нас целует, крестит, как бы мимоходом, но серьезно говорит: «Не шалите же, не дурачьтесь; Анна Карловна, вы смотрите, пожалуйста, за ними». С матушкой он говорит, напоминая ей намеками про вопросы высшей политики, как с кем встретиться, кому не забыть что сказать, кому о чем ничего не говорить, и проч., и проч. Все переговорено, все подтверждено — пора же наконец садиться в карету и ехать... Выходим на крыльцо, начинается усаживание, кончается оно. В тарантасе, запряженном парой, позади кареты, уже сидят нянька Устинья Ивановна с Матрешей: они забрались туда сейчас же, как увидели нас, выходящих на крыльцо. Теперь все ждут только, когда отойдет от дверец кареты отец, договаривающий еще о чем-то с матушкой, и когда выездной наш лакей Никифор, стоящий тут же, крикнет Ермилу-кучеру: «Пошел!» и сам, с удивительной для всех нас ловкостью, вскочит на козлы, когда карета, как корабль какой-нибудь, медленно отчалит и тронется в дальний путь... Наконец отец отходит от окна кареты и как бы передает этим нас в ведение Ермила, Никифора и прочих. Раздается: «Пошел!» Карета всколыхнулась на своих ремнях и рессорах и поплыла. Как в панораме проходят перед нами, куда-то двигаясь, флигеля, конюшни, людские; потянулся длинный вал, что идет вокруг всего нашего сада. Мы смотрим в этот сад, сквозь строй стволов берез, липок, кленов. Там виднеются дорожки, знакомые места, и как-то вдруг станет скучно — не скучно, а тоскливо станет на душе... В карете все сидят с постными лицами и молча...

Но это недолго протянется: только исчезнут из вида усадьба и знакомые близкие места, начнутся у нас разговоры: новые предметы, попадающиеся навстречу, начнут привлекать любопытство, прелесть поездки-путешествия проявится во всей своей привлекательности...

II

Дукмасовское Знаменское было большое имение, отлично по-тогдашнему устроенное. Обширная усадьба отличалась прочностью, «капитальностью», как говорили тогда, всех построек. Действительно, всюду видне-

лись огромные, толстые бревна, крыши везде были железные, все строения на каменных фундаментах, на дворе порядок и чистота; сейчас видно было, что тут живет действительно хозяин. Такое же впечатление простора и прочности производил и дом — обширный, с высокими, большими комнатами, наполненный прочной мебелью, чинно стоявшей вдоль стен; все было солидно, массивно в доме; даже половики, которые в обыкновенные, не парадные дни лежали вдоль всех комнат и коридора, поражали широтой и добротностью холста. По этим половикам неслышными шагами бегали бесчисленные молоденькие горничные, девчонки-подростки, и скромно выступали степенные, приближенные к тетеньке женщины, заведовавшие кружевницами, коверщицами, вышивальщицами, и проч., и проч. По ним же, по этим половикам, торопливой и тоже неслышной походкой спешно проходили лакеи и рысцой пробегали казачки, принося то и дело господам трубки и длинненькие, сложенные вдвое полосочки бумаги для закуривания — спички тогда только что входили в употребление, да и то были вонючие, с серой, и назывались «серничками»; все поэтому закуривали или от бумажки, или от уголька, или, в солнечные дни, от зажигательного стекла. Беготни прислуге было много, но происходила она, если так можно выразиться, в порядке, благоустроенно и чинно. Беда, если бы «тетенька» заметила, что какой-нибудь лакей или горничная смеются, перекидываются словами.

Одной стороной дом выходил на обширный двор, содержавшийся в удивительном порядке, посредине которого, в виде беседки со шпицем и вырезанным из железа флюгером-лошадкой, был устроен колодец, а другой стороной дом примыкал к саду, старинному, громадному, с бесконечными, казалось нам, березовыми, липовыми, кленовыми и дубовыми дорожками, с кругами, с куртинами, наполненными яблонями, вишнями, кустами орешника, черной, красной и белой смородины, крыжовника и проч. В саду были устроены просторные акациевые беседки, где вершины деревьев были так связаны, что образовывали купол. Это нам, детям, казалось верхом садового искусства.

— Отчего у нас в саду этого нет? — спрашивали мы гувернантку Анну Карловну.

— Это очень трудно сделать.

Мы и думали, что это очень трудно сделать, и потому дивились.

Сад примыкал к реке, довольно широкой и, как нам говорили, очень глубокой. Вода в ней была чистая, прозрачная, не то что в нашем пруде, и водились в этой реке не одни лишь караси, как в нашем пруде, но и другая всякая рыба: окуни, ерши, лещи и раки. Нянька наша и сопровождавшие иногда нас «ихние» горничные девушки и женщины рассказывали нам даже про сомов, огромных, головатых, которые водились в глубоких омутах этой реки и которые проглатывали не только уток, но хватали за ноги даже детей, когда те купались и неосторожно доплывали до глубоких мест...

За рекой, по той стороне, было видно гумно с ригой, какими-то сараями, овинами, амбарами и таким количеством скирдов хлеба, которого, собранного в одном месте, больше мы не видывали. Это были бесконечно длинные ряды скирдов, начиная от совершенно темного цвета прошлогодних, третьегоднишних, четверогоднишних — чем старше, тем темнее, и до урожая нынешнего года, золотых в сравнении с ними. Когда мы бывали в Знаменском не в начале лета, а в конце, мы видали эту роскошную картину невиданного нами обилия...

— Дедушка богат, — говорила нянька, и все мы дивились, слушая ее, этому видимому его богатству...

По другую же сторону реки, вдали, синел лес, принадлежавший тоже дедушке. В нашей степной стороне леса не было ни у кого — ни у нас, ни у соседей, и потому и лес нас занимал, и мы расспрашивали тоже про него.

— Земляники там что, ягод всяких, орехов, грибов, — рассказывали нам.

Мы однажды, в какую-то поездку нашу, ездили в лес, то есть ездили все и нас взяли с собою, и я помню первое впечатление леса — таинственное и страшное, которое показалось нам еще более таким от поднявшейся вдруг, когда мы там были, бури с грозой и дождем. В вершинах деревьев стоял гул, как голоса какие раздавались там... Мне всю ночь потом снился этот лес, гроза в нем и ливень...

Дедушка с бабушкой (тетенькой) были богаты и мужиками. Кроме того, что мужиков было много у них, они были еще и самые богатые в уезде.

— Таких мужиков, как дукмасовские, где же вы еще встретите? — говорили про них все. — Исправные, богатые, не воры, не разбойники. Григорий Михайлович умел их поставить и держит их в руках...

Я помню, слушая эти разговоры про знаменских мужиков, я думал все: «Как же это он, дедушка, сделал это? Все хозяева, у всех есть мужики, а сделал он один; никто не сумел этого сделать, а он сумел...» Я помню, с каким вдумчивым вниманием, под впечатлением этих рассуждений, я рассматривал каждый раз длинные ряды мужицких изб в Знаменском, пытливо смотрел на лица попадавшихся нам навстречу мужиков...

И, как бы в ответ на мои мысли, матушка иногда, глядя в окно кареты на мужицкие избы в Знаменском, на их дворы и гумна, говорила:

— Анна Карловна, хлеба-то что у мужиков — смотрите-ка, и ведь все старый еще, третьегоднишний.

Я слышал эти разговоры о богатстве знаменских мужиков и дома, когда мы возвращались из Знаменского.

— Григорий Михайлович умный человек, — соглашался отец, слушая эти рассказы, — он понимает это дело...

Я помню рассказ об этих же мужиках, как какой-то Сидор Егоров предлагал дедушке выкуп за себя с семьей восемь тысяч, а Макар Семенов десять тысяч, и дедушка все-таки не взял, не согласился их отпустить на волю.

— Что ж тут такого, и не удивительно, — рассуждали все, соглашаясь, — при его состоянии можно все себе позволять. Другой, бедный человек на его месте, разумеется, взял бы — десять тысяч за одну семью большие деньги, а ему что? Богачей он всех выпустит из деревни — она уж не та у него будет. Он из самолюбия этого не делает. Вот, дескать, какие у меня есть мужики.

— Это, то есть, как же выкуп? — спрашивал я при этом, слушая их рассказы-рассуждения.

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.

— Очень просто, — отвечали мне, — мужик внесет деньги, а ему дадут вольную.

— И он уедет тогда?

— Куда угодно, сделай одолжение...

Помню я, когда мы гостили в Знаменском, поездки по праздникам в церковь к обедне и при этом мужиков знаменских и баб, одетых по-праздничному. Мы подъезжаем, а большая каменная знаменская церковь уж полна народом; народ стоит на паперти, вокруг церкви, ограды, перед отворенными настежь церковными дверями. И вся эта масса, одетая по-праздничному, молящегося народа кланяется нам, а дедушка с бабушкой, мы и другие родственники и гости, приехавшие с нами, проходим в церковь, и нам все там тоже кланяются, дают дорогу, теснятся.

— Вот этот, — слышу я позади себя или возле кто-нибудь говорит, когда мы займем свои места и станем, чтобы помолиться, — вот этот вот, вон с седой бородой мужик, видите, это самый первый богач... Десять тысяч за себя это он Григорию Михайловичу выкупу давал, — он и двадцать может дать...

И действительно, они, знаменские мужики, поражали непривычный взгляд видом своего довольства. Едут — лошади у них так и блестят, шерсть лоснистая, медные бляхи у шлей горят на солнце, а сами жирные лошади едва бегут, да и то как-то лениво, сонно, точно они пообедали сейчас, хотят спать, а их запрягли.

Но я помню также, что эти все рассматриванья знаменских мужиков со стороны их довольства и богатства, все рассуждения об этом их довольстве и богатстве на меня, ребенка еще, все-таки производили какое-то странное впечатление; мне невольно приходило в голову сравнение с таким же рассматриванием коров в стаде, когда их прогоняли мимо нас домой с поля и рассуждали об относительной сытости их, о количестве даваемого ими удоя... Было что-то странное, эгоистическое, материальное, безучастное в этих рассуждениях, и это детской, чуткой душой сейчас чувствовалось, слышалось. О людях не говорят так теперь. О них так можно было говорить только тогда — тогда, когда они были собственностью. Там, что бы мне ни говорили о том времени, но теперь так не говорят о людях, потому что теперь их так нельзя рассматривать...

В таком же блестящем виде представлялись и дворовые в Знаменском, которые жили отдельно от мужиков, целыми поселками, сейчас за усадьбою господской, на берегу пруда. У них у всех были собственные избы, свой скот, коровы, свиньи, овцы, у некоторых даже лошади. Я помню завистливые взгляды и такие же завистливые разговоры и рассуждения родственников и соседей и по поводу их.

— Да, у иного помещика и мужики так не живут, как дворовые здесь. Какие же это дворовые? У них у каждого есть все свое.

Я помню завистливый испуг даже одной нашей родственницы, которая раньше не бывала в Знаменском и, приехав, увидала или узнала от кого, что коровы, овцы и свиньи дворовых ходят и пасутся отдельным стадом от крестьянского. Она никак все не могла свыкнуться с мыслью о таком благополучии этих дворовых и все расспрашивала:

— А где же это стадо ходит? Почему же отдельно от крестьянского?

— Потому что крестьянское стадо ходит по крестьянской земле, — отвечали ей, — а это по господской. У дворовых же ведь нет земли...

Но тут, к вящему ужасу ее, оказалось, что у дворовых есть и земля: им дано было по нескольку, по осьминнику на семью, что-то вроде этого, для посевов конопли, картофеля, капусты, овощей и проч. Бедная родственница после этого замолчала даже, только поднимала плечи и все улыбалась. Но что это была за улыбка! В ней все было, даже чувство жалости к «дяденьке» — дедушка ей приходился дядей, — что его так обирают и грабят дворовые.

Дворня в Знаменском была многочисленная, я не знаю, не помню теперь, сколько было всех дворовых, но что-то очень много. Целые флигеля отдельно были заняты ковершицами, которые ткали попоны для лошадей, ковры; были потом флигеля, в которых работали кружевницы, вышивальщицы по батисту и тонкому полотну, которые вышивали не только воротнички и рукавчики, но целые пеньюары и платья. Ниже об этом будет сказано подробнее... Наконец, было множество женщин: жен кучеров, конюхов, поваров, садовников, ткачей, лакеев, которые были при девичьей, в доме, при

флигелях для приезжих родственников и гостей, ходили в ключах, то есть при кладовых, леднике, подвале, выходе, ходили за птицей: за гусями, утками, курами, индейками; коровницы, скотницы, которые ходили доить коров, поить телят, сбивали масло, и проч., и проч.

Но больше всего бросалось в глаза и дразнило зависть — внешний вид дворни, особенно конюхов и кучеров: все в красных рубашках, в синих, тонкого сукна, чуйках, в поддевках и полушубках зимой.

— Выводит, каналья, лошадь — она блестит, и рожа у него у самого с жиру блестит, — говорили, я помню, про конюхов.

— А кучер-то! Ведь он, ракалья, кроме тройки знать ничего не хочет. Какая у него забота — никакой! О чем ему думать?

И действительно, в Знаменском и тщательно вычищенные и отлично кормленные лошади блестели, и блестели также и те, кто ходил за ними и правил ими, тоже отлично одетые и хорошо кормленные...

Все в Знаменском носило на себе печать прочности и прочной, обеспеченной сытости. Это не было случайностью, это было дело целого строя, порядка, который достиг в Знаменском своей высшей степени, которой он когда-нибудь и где-нибудь достигал и мог достигнуть.

— Да, — говорили все, — у Дукмасовых такое житье людям, какого уж, кажется, нигде нет. Как в раю живут...

И по-тогдашнему это был рай...

III

Владельцы этого «рая», дедушка Григорий Михайлович и бабушка Варвара Николаевна, были люди замечательные.

Дедушка был высок ростом, худощав, сухого сложения; коротко, под гребенку, острижен; сед, с красным лицом, на котором торчал маленький, сухенький носик; все лицо бритое и оттого жесткое — я такого жесткого лица не знал другого. Когда он нас целовал, то подставлял свою щеку, и я помню, какая она была сухая, черствая, с жесткими морщинами. Но самое замечательное

в нем были его глаза — совсем светло-светло-серые, притом мутные и какие-то точно остановившиеся, застывшие: он ими почти не моргал. Это, впрочем, может быть было от того, что он, как говорили, «страдал глазами»: в молодости он много кутил, по рассказам, и это оттого. Дедушка почти постоянно носил большой шелковый зеленый зонт над глазами, который он в редких случаях, и то на самое короткое время, снимал. От этого зонта вид у него был даже какой-то страшный, и когда мы были совсем еще маленькие, мы прямо боялись его.

— Какой-то он страшный, — говорили мы. — Мама, он сердитый?

— Вздор какой! Дедушка-то? Вы не вздумайте еще это в Знаменском рассказывать...

Говорил он мало, и то отрывочно, замечаниями по поводу того, что ему рассказывали, или того, что он слышал, что при нем говорили. Скажет, бывало, свое мнение или замечание в двух-трех словах, и опять замолчит, и неизвестно,— не видать его глаз под зонтом,— что: спит, дремлет или слушает? От этого рассказчик, особенно с непривычки, не зная, слушает ли его дедушка, время от времени останавливается, поглядывая на других, как бы спрашивая их: «Продолжать мне, или он заснул?» Присутствующие тогда кивали ему успокоительно головой, дескать, продолжайте — это у него привычка такая, или сам дедушка, пожевав сухими, узкими губами, говорил: «Ну-с... я слушаю...» Рассказчик продолжал, ставил в разговоре вопросы, делал даже почти прямо обращение к дедушке — он все молчал. Наконец тот опять начинал останавливаться, оглядываться, и дедушка тогда, пожевав, опять повторял: «Ну-с... я слушаю...»

Иногда для чего-то мы сидели тут же и слушали, слушали без конца эти скучнейшие, длиннейшие разговоры и не знали, когда это нас отпустят побегать в сад или играть в другие комнаты. Но матушка нас удерживала, показывала глазами, пожимала плечами, дескать, «нельзя, сидите — что это за глупости...» Я очень часто, особенно когда был поменьше, начинал наконец клевать носом, а сестра Соня — так та прямо прислонялась к спинке дивана или кресла и засыпала, пока матушка или кто-нибудь из родственников не заметят этого и не разбудят ее. Тогда уж, во избежание скандала дальше

и чтобы также не заметил этого дедушка, матушка тихонько, на цыпочках, чтобы не помешать разговору, вставала, подзывала нас пальцем к себе и уводила. Дорогой она, разумеется, делала нам наставления, как это нехорошо мы делаем, что это невежливо, что дедушка, если увидит, может обидеться и что поэтому другой раз она нас с собою в Знаменское не возьмет.

Но мы были рады, что нас наконец отпускали и мы опять можем и бегать и играть. Ее угрозы, что она нас с собою сюда другой раз не возьмет, мы не боялись, понимая, что это она так только говорит.

Дедушка всегда почти держал в левой руке короткий, не длиннее аршина, черешневый чубук с глиняной на конце трубкой, которую раскуривал иногда до того, что табак горел в ней, как уголь, красным огнем и искры так и падали из нее. Тогда он большим пальцем правой руки прижимал огонь. От этого у него палец этот был в нижней своей части всегда темно-коричневый, обожженный. Дедушка, как и все тогда, курил жуков табак, в синих четвертках, и весь пропах им. Я как сейчас помню этот слащавый, «медовый», как называли тогда, запах, и он по-своему был хорош.

Только перед обедом и потом по вечерам дедушка приходил в гостиную и вот так сидел и слушал разговор, а то все время, если был дома, сидел у себя в кабинете, где что-то считал и разбирал какие-то бумаги. Туда к нему приходили и, остановившись у притолки дверей, говорили с ним: приказчик, бурмистр, конюший и проч. С ними дедушка говорил точно такими же отрывочными замечаниями и никогда не возвышая голоса. Так же почтительно и у этой же притолки стояли и купцы, приезжавшие к нему покупать рожь, овес, пшеницу, лошадей. У него был очень хороший конский завод, славившийся в свое время.

Дедушка никогда ничего не читал. В доме, кажется, не было совсем книг. В кабинете у него на желтом, карельской березы, письменном столе лежали только лет за двадцать, один на другом, календари да какая-то большая толстая книга, содержание и заглавие которой я не знаю; только не библия и не евангелие. По стенам висели мушкетоны, ружья с кремнями, турецкие пистолеты, кривые, почти дугой, ятаганы, черкесские шашки и целая коллекция старинных, прадедовских, времен

Елисаветы и Екатерины, шпаг и сабель — огромные, с раздвинутыми, как рога оленя, рукоятками и совершенно заржавевшими лезвиями. Между ними висел в рамке новенький, чистый, не закоптелый литографированный портрет князя Орлова-Чесменского на беговых дрожках, в халате, со звездой и в собольей шапке, проезжающего шагом своего знаменитого Барса, родоначальника всех рысаков. Этот портрет тогда у всех был заводчиков лошадиных, а у кого тогда в нашей стороне не было заводов конских?..

Дедушка вставал всегда рано, и зимой и летом в четыре часа, и в халате, с трубкой выходил в зал, где к этому времени на развернутом ломберном столе, покрытом белой скатертью, поставленном посередине комнаты, был приготовлен чай, кипел самовар, на блюдечке лежали ломтики лимона, и степенного вида женщина Евпраксеюшка, доверенная и приближенная в доме, стояла возле стола, готовая наливать в стакан дедушке чай. Он показывался в дверях, и она снимала салфеточку с чайника — на самовар его никогда не ставили — и наливала. Дедушка подходил к столу, отхлебывал глоток-другой и начинал ходить взад и вперед по белому, чистому холщовому половику, разостланному вдоль всех парадных комнат. В это же время являлась с метелочками и гусиными крыльями горничная и начинала подметать полы и стирать пыль. Дедушка ходил так по комнатам долго, с час. Она не мешала ему.

Однажды как-то, еще накануне испросив позволение на другой день как можно раньше встать и отправиться с нашим человеком Никифором удить рыбу на реку, я, совсем уж одетый, готовый, вышел в парадные комнаты и наткнулся на странную тогда для меня сцену. Дедушка, этот суровый человек, стоял в гостиной и держал за подбородок молоденькую какую-то горничную. Потом дедушка потрепал ее по щеке и хотел было взять ее за талию, как вдруг в это время заметили — он или она — меня, и все сразу переменилось: дедушка пошел, медленно зашагав, шлепая туфлями, а молоденькая горничная принялась крылышком подметать пол...

Но дедушка, должно быть что-то подумав, захотел отвести мне глаза, схитрить. Возвращаясь из зала опять, он сделал вид, что только сейчас меня увидал, и, даже ласковее обыкновенного, нагнулся ко мне, под-

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.